**Димитр Димов**

**Душная ночь в Севилье**

Мне было известно заранее, что маэстро Кинтана, знаменитый художник из Севильи, – человек угрюмый и желчный, что у него благородный профиль, седеющая шевелюра и гибкие, кошачьи движения тореро. И еще я был предупрежден профессором Альмасекой из Мадрида, который дал мне рекомендательное письмо, что художник либо примет меня радушно, либо выгонит, в зависимости от настроения. Когда я представился маэстро Кинтане, он небрежно пробежал глазами письмо от Альмасеки и с досадой смерил меня взглядом.

– Я зайду к вам дня через три, – сказал он сухо. – Сейчас я занят.

Он не удостоил меня приглашением задержаться у него в доме хотя бы на несколько минут и не дал полюбоваться волшебным patio interior[1] с ползучим жасмином по стенам, с пальмами и бассейном, в который падала струя воды из колонны, украшенной арабесками. Художник принял меня с таким неудовольствием, словно я испортил самые драгоценные часы его творчества.

Это было равносильно тому, что меня выгнали, и я ушел в полной уверенности, что маэстро больше мною не поинтересуется. Я горько разочаровался в хваленой испанской учтивости. В течение двух дней я осматривал Севилью со своим guide bleu[2] в руках. Таким образом я не дал водить себя по традиционному маршруту, как невежественного американского туриста, и любовался всем, что мне нравилось, не испытывая раздражения из-за торопливости какого-нибудь платного гида. Было жарко и Душно, но над городом носилось благоухание пальм и цветов из садов Делисиас. Никогда в жизни я не видел столько солнца и цветов, таких пронзительных контрастов света и тени. В соборе были тонны золота и серебра, бесценные произведения из слоновой кости, одежды из роскошных тканей и уйма бриллиантов, изумрудов и рубинов, от которых рябило в глазах, а вокруг кишели калеки – инвалиды гражданской войны и отвратительные вшивые нищие. Утром жизнерадостные женщины под темными мантильями отправлялись на литургию в собор, а вечером тоскующие кокотки посасывали лимонад в баре напротив. Так у меня сложилось парадоксальное впечатление, будто кокотки – это богомолки, а богомолки – уличные женщины. Впрочем, виной тому, очевидно, была усталость от тропической жары.

На третий день, вернувшись в отель, я встретил в холле маэстро Кинтану.

– Где вы пропадаете целый день? – спросил он сердито. – Я с утра вас разыскивал, чтобы пригласить к себе обедать. Вчера вечером я говорил о вас по телефону с Альмасекой. Он сказал, что вы не из тех тупоголовых иностранцев, которые посещают Испанию.

Топ его был резок и желчен, но в словах я уловил нечто, подобное комплименту и отчасти извинению за то, что он меня выставил в первый день. Я ответил сдержанно, что не хотел бы злоупотреблять его дружескими чувствами к сеньору Альмасеке.

– Бросьте!.. – сказал художник и сделал резкое движение рукой, словно разрывая путы нудной испанской церемонности. – Поужинаем где-нибудь вместе, а потом пойдем в «Лас Каденас»… Там я представлю вас одной знаменитости. Думаю, что это лучшее из того, что я могу предложить иностранцу, который сыт по горло зеленой скукой соборов, памятников и святых. Вы слышали о Канделите? О, не беспокойтесь!.. Это не кокотка из «Лас Каденас», а вполне достойная женщина, с которой сегодня вечером я встречаюсь в этом заведении… Даже сам Альмасека оставил бы свою лабораторию и книги ради нее, если бы так не трепетал перед грозной доньей Инес…

Я был готов к чему угодно, только не к этому. Канделита была андалусской звездой, танцовщицей, выступавшей в Южной Америке, а теперь гастролировавшей в мадридском варьете «Фонтальба». Громадные афиши кричали о ее концертах рядом с призывами поклониться мощам какого-то кастильского святого.

Маэстро Кинтана, вероятно, хочет загладить свою грубость по отношению ко мне, познакомив меня с Канделитой подумал я, чувствуя себя задетым. Может быть, он ожидал, что я запрыгаю от восторга? У меня нет никаких предубеждений, но я не хотел и сойти за дурачка, который восхищается звездами варьете.

– После собора и Мурильо это будет для меня приятным развлечением, – сказал я с холодной улыбкой, которой хотел отомстить за плохой прием в день знакомства.

Художник внезапно потемнел лицом.

– Вам незачем притворяться снобом, – сказал он сердит0-\_ Севилья не только собор, Мурильо или дурацкая легенда о доне Мигеле де Маньяре!.. Здесь рождаются, живут и умирают люди, и драма их жизни куда важней того, что перечислено в вашем Бедеккере!.. Один час, проведенный в Триане[3] или в «Лас Каденас», больше скажет вам об Испании, чем замшелое величие Эскориала, чем переживания Моклера в кордовской мечети или словесные упражнения какого-нибудь эссеиста о полумраке собора в Толедо. А Канделита – часть Трианы и жизни. Канделита продала свое тело, сердце и талант в «Лас Каденас»… Это настоящее cante hondo,[4] молодой человек… Потрясающая человеческая драма, подлинная трагедия, куда страшней судьбы развратника дона Хуана Тенорио, проглоченного адом и описанного Тирсо де Молиной, или участи другого прелюбодея, его подражателя, дона Мигеля де Маньяры, который обесчестил всех почтенных севильских женщин, а потом исхитрился обмануть бога, раскаявшись и построив госпиталь!.. Вы согласны?

Я кивнул и посмотрел на него с интересом.

– Очень хорошо!.. – Маэстро Кинтана тоже посмотрел на меня с интересом. – Альмасека сказал мне, что вы – серьезный человек… Мы с вами можем откровенно поговорить о многом. Я не хочу, чтобы вы заморочили головы своим соотечественникам разной чепухой об Испании!.. А это что такое?

Он быстро и бесцеремонно раскрыл лежавшую на столе папку с репродукциями, которую я купил в тот день у букиниста. И произошло именно то, что могло пополнить представление маэстро Кинтаны о моей особе и наказать его за то, что он обратился к Альмасеке за дополнительными сведениями обо мне: художник напал на «Фонарь» и «Прачки» – картины, написанные им прежде, чем он пошел по пути слащавого искусства, которое принесло ему богатство и славу. На картине «Фонарь» было изображено несколько проституток, собравшихся под светом уличного фонаря. Зловещие красноватые отблески падали на этих отверженных, выставляя напоказ бесстыдные улыбки на отупевших лицах, злобу, цинизм и отчаяние, таящиеся в их душах. Трудно было представить себе более сильный бунт, более пламенный и страстный протест против самого мерзостного способа, каким деньги могут унизить человеческое существо. В картине было что-то сильное, берущее за душу, почти в стиле Гойи.

Лицо художника болезненно дернулось, словно его ударили хлыстом.

– А!.. – протянул он потерянно. – Где вы нашли эту репродукцию?

– У букиниста.

– Она давным-давно разошлась… Верно, вас здорово ободрали?

Я промолчал. Я купил ее всего за десять песет. Букинист и не подозревал, какова ее настоящая цена. Маэстро Кинтана захлопнул папку. Несколько минут он просидел неподвижно и удрученно, словно пришибленный обвинением, которого не мог опровергнуть. Наконец он справился с собой и проговорил глухо:

– Теперь вы знаете, что когда-то я шел, другим путем. Я бы придушил Альмасеку за то, что он прислал вас ко мне… И я дал бы тысячу дуро, чтобы эта репродукция не попала к вам в руки.

– Почему? – спросил я смущенно.

– Потому что теперь я должен рассказать вам о себе.

– В этом нет необходимости, – сказал я с сочувствием, которого художник не заметил.

Он пристально смотрел на папку с репродукциями, словно все еще проклинал Альмасеку. Я тотчас представил себе мысленно пережитую им борьбу – обычную драму художников в мире, где деньги и погоня за наживой правят всем. И искренне пожалел, что случайно, сам того не желая, разбередил его рану.

– Кончено! – тоскливо прохрипел он. – Если кто-то из ваших соотечественников увидит эту репродукцию, скажите ему, что маэстро Кинтана обыкновенный шарлатан…

– Слава Гойи не уменьшилась из-за пасторалей, которые украшают Эскориал, – сказал я тихо и тут же понял, насколько неудачно мое утешение.

– О, Гойя! – воскликнул он. – Но Гойя плевал в лицо монархии, даже когда писал королевскую семью!

Я не нашелся, что ответить. После всего, что я знал о славе и успехах маэстро Кинтаны, я чувствовал себя обескураженным. Наступила короткая пауза. Затем художник сухо, с ноткой официальной любезности сказал:

– Итак, я прошу вас доставить мне удовольствие поужинать со мной в «Андалусия Палас», а потом мы отправимся в «Лас Каденас».

Про себя я подумал, что, пожалуй, лучше бы нам вовсе больше не встречаться, но я уже принял приглашение, и теперь мой отказ мог бы его обидеть. Я учтиво поклонился и пообещал быть в «Андалусия Палас» через час.

Он ушел.

Пока я брился и переодевался, я размышлял о странном и трагическом противоречии в жизни маэстро Кинтаны. Альмасека рекомендовал его мне как человека прогрессивного, но этот художник вот уже двадцать лет писал одни слащавые андалусские сюжеты, которые пользовались большим спросом на богатом южноамериканском рынке. Он владел хорошей техникой, но шел по стопам Ромеро де Торреса, и его искусство было малоинтересным, упадочным, пустым… Драматичный блеск Андалусии был погублен манерностью и малодушным бегством от действительности. Такой банальной стилизации цыганок и тореадоров, как у него, мне никогда не приходилось видеть. И все же маэстро Кинтана был мне симпатичен, поскольку он не лгал самому себе – самое страшное падение для художника.

Ужин в «Андалусия Палас» прошел под знаком возрастающей симпатии между нами. Маэстро подробно расспрашивал меня о моей стране, потом мы перешли на Испанию. Я со своей стороны довольно неискренне прикрывался маской объективного иностранца, который не желает высказывать определенную точку зрения на происходящее в Испании. Мы все еще не вполне доверяли друг другу.

Когда подошло время идти в «Лас Каденас», маэстро Кинтана спросил:

– Вы видели Канделиту?

– Да, – ответил я, – в театре «Фонтальба». Мне показалось, что она очень похожа на «Даму из Эльче».

– Ого! – удивился испанец. – Неужели вы запомнили даже бюст «Дамы из Эльче»?

– Я видел его много раз в Прадо.

Маэстро Кинтана задумался.

– На улицах Толедо вы можете встретить людей, словно сошедших с картины «Похороны графа Оргаса», – промолвил он.

– Случайное сходство, – отозвался я рассеянно. – Предполагаю, что это – главное достоинство Канделиты.

– Да, пожалуй, главное, – подтвердил маэстро. – Теперь она танцует с великолепной техникой, но без всякого огня.

– А разве когда-то она танцевала по-другому?

Художник примолк, словно на него нахлынули воспоминания. Потом встрепенулся и сказал пылко:

– Когда-то ее танец был волшебством… чудесной поэмой о жизни, любви и смерти!..

Маэстро Кинтана подозвал официанта.

– Нам пора идти, – сказал он с легким нетерпением. – Она придет в «Лас Каденас» к одиннадцати.

Мы пошли по улице Сан-Фернандо, а потом свернули на другую, ведущую к центру. В воздухе носилось благоухание жасмина и бензиновая вонь. На тротуарах бурлила толпа, а перед кафе за столиками сидели франты в черных костюмах, крахмальных воротниках и ослепительно блестевших ботинках. Как они выдерживали в эту жарищу в таком облачении – мне было непонятно. Сквозь шум толпы я услышал голос маэстро Кинтаны и удивился, что мысли его все еще заняты Канделитой.

– Я не хочу, чтобы вы гадали, что связывает меня с этой женщиной… Мы с ней познакомились в то далекое время пашей бедности, когда у меня не было денег даже на мастерскую, а она, как и ее мать, была прачкой в Триане…

Грохот трамвая заглушил его голос, потом я поймал его снова:

– Теперь у нее поместье в окрестностях Тио-Тинго, и, когда она ездит туда отдыхать, она проезжает через Севилью. Сегодня утром я встретил ее на Сиерпес… это все.

– В самом деле? – спросил я, чтобы как-то поддержать разговор.

– Решительно все!.. Между нами не было и тени любви или чего-либо подобного. И если я пригласил вас, то именно потому, что нам с Канделитой нечего сказать друг другу.

Сердце Севильи – квартал Санта-Крус. Это настоящий лабиринт, откуда вы выберетесь, только если случайно окажетесь на площади Доньи Эльвиры и по улочкам Сусона и Пимиента выйдете к стенам Алькасара. Где-то в Санта-Крус и находилось «Лас Каденас». Это заведение представляло собой небольшой зал с низкими мягкими диванами вдоль стен. В углу играл ансамбль гитаристов, а посередине на рогожке танцевали сегедилыо с полдюжины севильских девушек в длинных и ярких платьях с воланами. Несмотря на стиль кабаре, танец еще сохранил что-то от своей первичной и глубокой силы – хореографического синтеза идей любви и смерти, слитых воедино в драматической теме андалусского cante hondo. В нем было что-то скорбное, завораживающее и чувственное, что-то постоянно напоминающее о смерти, которая поглощает все. Стук кастаньет казался стуком костей мертвеца, сыплющихся в пустой гроб. Почти все девушки были хорошо сложены, но лица их, продолговатые и смуглые, не отличались красотой. Они были в оранжевых платьях, с неизбежным жасмином или красной гвоздикой в черных волосах. Выражение их глаз было дерзким и немного вульгарным, как у всех женщин, которые за ширмой искусства торгуют своим телом.

Маэстро Кинтана заказал херес и хмуро уставился па синеватый табачный дым, в котором кружились девушки. Было душно. Пахло духами и потным женским телом, а горьковато-сладкий херес разливал по нашим мышцам тупую усталость.

– Откуда идет ваше ужасное cante hondo? – спросил я, чувствуя себя подавленным всей этой обстановкой.

– От нищеты и безденежья, – тотчас ответил художник. – Цыганка не изменила бы любовнику, если бы он мог купить ей платье и чулки… Обманутая девушка не схватилась бы за кинжал, будь у нее приданое, чтобы выйти за другого… Cante hondo – порождение бедности.

Cante hondo – жестокая нищета испанца, которая толкает его на отчаянные поступки в личной жизни… Я тоже пережил свое cante hondo, когда от «Фонаря» перешел к кичу, которым аргентинские миллионеры украшают свои дворцы.

Глаза маэстро Кинтаны наполнились горечью, и тогда я вспомнил одну из самых слащавых его картин: цыганка, убитая тореадором. Он продал ее за двести тысяч песет в Южную Америку.

– А почему вы перешли к кичу? – спросил я, чувствуя некоторую неловкость.

– Да потому что в Париже я подыхал с голоду! – с болью вырвалось у художника. – Потому что косточки моей двухлетней дочери искривились от рахита в плесени и сырости нашего жилья… Потому что даже маэстро Рейес заклеймил мой «Фонарь», как картину бездарную…

Наступило молчание. Я не знал, что сказать. Я почти жалел, что взял то письмо у Альмасеки. Я не люблю исповедей, а бесполезный драматизм раскаяния напоминает мне ужасных святых Риберы и Сурбарана. Признание художника было трагичным, и в то же время в нем было что-то отталкивающее.

– Вы бывали в Севилье на страстной неделе? – наконец нарушил молчание маэстро.

– Нет, – ответил я рассеянно.

– Значит, вы не видели Севилью весной и не представляете себе, что такое feriata[5] в Севилье.

Маэстро Кинтана сказал это с сожалением, однако без снобизма. Он наклонился и наполнил мне рюмку хересом. Его красивый чеканный профиль вызывал в; памяти черты центурионов римской когорты. Оркестр нервно отбивал быструю сегедилью. Гитаристы бешено дергали струны, словно решили раскровавить пальцы, а девушки с воланами вертелись, как волчки. От мертвенного звука кастаньет, от вращения девушек и крепкого вина у меня закружилась голова. Когда опомнился, я услышал голос маэстро Кинтаны:

– …Небо тогда еще совсем прозрачное, синее-синее, без летнего марева, придающего ему пепельный оттенок. В воздухе носится запах жасмина и апельсинового цвета, а в листьях пальм воркуют голуби. Днем город дрожит в ослепительном солнце, и предметы, кажется, лишены теней. К вечеру все тонет в синеватом полумраке, разноцветные фасады домов тускнеют, и Санта-Крус превращается в зримую симфонию нежных темнеющих красок… Бог если бы вы тогда попали на площадь Доньи Эльвиры, вы увидели бы, как на камнях фонтана оживут и зашевелятся арабески… И почувствовали бы все волшебство этого бесполезного и женственного арабского искусства, тончайшего, как кружево, в котором иные находят какие-то идеи, но которое, в сущности, не говорит вам пи о чем, а лишь наполняет вашу душу негой и сладострастием, подготавливая ее к оргии страстной недели. Никогда Севилья не бывает столь язычески нечестивой, как во время страстной недели. В дни, когда Христос искупал человеческую жестокость, в тавернах льется вино, а на улицах бурлят толпы, охваченные яростной жаждой жизни… Не знаю, сможете ли вы представить себе эти casetas,[6] сооруженные из полотна, натянутого на рейки. Городская община строит их па время фериаты вдоль всей улицы Сан-Фернандо и сдает внаем. Это своего рода открытые балаганчики – каждый проходящий по тротуару может смотреть, как молодые девушки танцуют в них сегедилью под звуки гитар: Касеты снимают обычно родственники или соседи и собираются в них семьями, а их сестры и дочери, не будучи профессиональными танцовщицами, показывают свое искусство публике.

Однажды вечером, лет двадцать назад, я шел на страстной педеле по улице Сан-Фернандо и угрюмо смотрел на праздничную толпу. Я чувствовал себя одиноким, измученным, отверженным – словом, был в том подавленном состоянии, когда, устав бороться с бедностью, ты теряешь веру в свои творческие силы. Я только что вернулся из Мадрида после года, проведенного в лишениях и тщетных попытках хотя бы сколько-нибудь приблизиться к мощной кисти и колориту Гойи. Я шел к окраине города, касеты становились все бедней. Роскошные гребни, усыпанные бриллиантами, уступали место целлулоидным, вместо пестрых шалей и шелковых мантилий мелькали ситцевые платьица с воланами… Но повсюду царило одинаковое оживление, одинаковая радость, одинаковая жажда жизни. Было что-то исступленно-ликующее в бешеном темпе сегедильи, в синкопах гитар, в возгласах мужчин и смехе женщин. Словно древнее иберийское неистовство охватило всех. Наконец я дошел до последней касеты, заполненной простым людом из Трианы. Отчаянное одиночество, терзавшее меня, как боль, заставило меня остановиться перед нею и заглянуть внутрь.

Касета была ярко освещена электрической лампой. Посередине стоял большой стол, вокруг сидело человек двадцать мужчин и женщин с грубыми лицами, судя по виду рабочих с пристаней Гвадалквивира или торговцев фруктами. Возле стола стоял громадный глиняный кувшин вина. Смуглый толстяк с серьгой в ухе играл на гитаре, рядом сидел сержант гражданской гвардии, а с тротуара, не смея приблизиться, глазели оборванцы, обычным занятием которых, вероятно, было попрошайничество. Все пели и хлопали в ладоши в такт сегедилье. На столе танцевала молодая девушка.

Маэстро Кинтана замолчал и отрешенно загляделся на табачный дым, словно все еще видел эту сцену, а потом заговорил снова:

– Эта девушка была Канделита, но тогда ее звали просто Мануэла Торрес… Вы, наверное, встречали в Мадриде необычайно красивые женские лица. Они имеют оливковый оттенок, и отличает их какая-то неподвижность, алмазная твердость, которая заставляет подозревать их обладательниц в холодности. А здесь, в Андалусии, солнце покрывает женские лица золотистой и нежной смуглостью, кожа приобретает цвет спелого персика, губы похожи на разрезанный гранат. Мануэла была яркой, по хрупкой и нежной, как цветок апельсина. На ней было дешевое красное платье с воланами, высокий гребень в волосах и красная же мантилья. Ноги ее были обуты в туфли без каблуков, с лентами, повязанными крест-накрест над щиколотками, как у танцовщиц времен Гойи. Тело ее извивалось то в резком ритме, то в плавно-замедленном, а туфли, казалось, едва касались стола. Было что-то неописуемо андалусское в ее иссиня-черных волосах, в золотистом, апельсиновом оттенке ее лица, в юной прелести ее тела, в ее танце. Это был дивный, старинный, неподражаемо испанский танец. В нем не было ничего циничного, ничего шаржированного, ни следа непристойных движений, которых требуют от танцовщиц мюзик-холлов импресарио или директор. Так, наверное, танцевали древние иберийские женщины во времена императора Траяна, андалусские крестьянки перед замком вестготского феодала или девушки из народа перед буйным и вспыльчивым сеньором Гойей… Я смотрел как завороженный. Девушка танцевала долго, с поразительной выносливостью, пока наконец щеки ее не стали темно-алыми, как гвоздика в ее волосах. Внезапно она остановилась, закачалась от усталости и бросилась в объятья сержанта гражданской гвардии, который снял ее со стола. Несколько секунд все хранили молчание, а потом раздался взрыв бешеного восторга, воплей и рукоплесканий… И тогда я увидел, как эти оборванцы вокруг меня… эта толпа бедняков… забушевала от радости… как они сумели оценить искусство подлинного танца, созданного народом в течение веков!.. И тогда я понял, что эти грубые докеры с пристаней Гвадалквивира, эти торговки фруктами – лучшие знатоки прекрасного, чем директора мюзик-холлов, которые обезображивают народный танец непристойностями… И я сам загорелся, я почувствовал огромное уважение к этой девушке, к этим людям, к моему пароду, к Веласкесу и Гойе… ко всему великому и вечному, созданному Испанией!.. Я почувствовал уверенность в себе… Силу и желание работать… В своем воображении я уже набрасывал композицию, в которой решил передать воздействие танца на человека. Я видел эту картину – юная танцовщица, окруженная плебеями, толпой бедняков, которые смотрят па нее, вытянув шеи, восхищенные, потрясенные и захваченные танцем… Должно было получиться что-то поистине в стиле Гойи.

Но пока я, фантазируя таким образом, протискивался, с риском набраться вшей, сквозь толпу оборванцев к касете, девушка подхватила сержанта гражданской гвардии под руку и пропала с ним в толпе. Сержант был красивый смуглый малый с черными усиками. Оборванцы тотчас расступились перед его серой" формой. Наконец я вошел в касету к этим людям – бедным, но опрятным и, очевидно, с постоянными занятиями, позволявшими им Жить прилично. Я сказал, что я художник, и сразу спросил, как зовут девушку.

– Это наша Манолита, – ответил один пожилой человек, – дочь вдовы, сеньоры Торрес, что торгует рыбой у моста в Триане. А отец ее был машинист, он погиб в катастрофе.

Польщенный вниманием сеньора, мужчина предложил мне стакан вина. Я поблагодарил и сел рядом с ним. Севильцы – народ дружелюбный и общительный. Через четверть часа я уже знал, что мне не стоило питать иллюзий: сеньора Торрес не разрешит своей дочери посещать мастерскую художника в качестве натурщицы. У девушки есть novio,[7] и она пользуется в Триане безупречной репутацией. Самое большее, на что я мог рассчитывать, это, получив согласие ее жениха, сержанта Педро Хиля, пригласить их обоих к себе в ателье и сделать небольшой набросок. Но когда заговорили о Педро Хиле, я узнал и о том, что омрачало жизнь девушки. Отец сержанта, лейтенант гражданской гвардии в отставке, не разрешал сыну жениться на бесприданнице Манолите. Он хотел женить его на дочери сеньора Косидо, владельца кондитерской, расположенной рядом с отелем «Инглатерра» и часто посещаемой американскими туристами. Сеньор Косидо так нажился на этих туристах, что мог выдать дочь даже за молодого капитана гражданской гвардии, если бы девушка не сохла и не изводилась втайне от неразделенной любви к красивому сержанту.

Мое знакомство с торговкой рыбой сеньорой Торрес и Мануэлой завершилось тем, что я стал ходить к ним в Триану, захватив с собой треножник и краски. Я набросал картину и назвал ее «Las lavanderas».[8] На ней были изображены Мануэла и ее мать, согнувшиеся с печальными, озабоченными лицами над лоханью с бельем. Лавчонка сеньоры Торрес возле моста над Гвадалквивиром все больше хирела, и Мануэле приходилось стирать белье из. отелей, чтобы помочь прокормить. маленьких братишек. Однажды, когда я был у них в доме, зашел сержант Педро Хиль, и мы познакомились. У него были карие с поволокой глаза. Сержант пожаловался, что служба стала тяжелой и неприятной из-за участившихся рабочих волнений, но что он не имеет возможности переменить профессию. Мне показалось, будто в отношениях молодых людей появился холодок. Педро Хиль все чаще погружался в раздумье и все реже бывал у бедной торговки рыбой. Однажды утром я застал в доме стенания и вопли, словно случилось непоправимое несчастье. Сеньора Торрес рыдала и сыпала проклятьями, призывая гнев всех святых, но не на Педро Хиля, а на старого сребролюбца, лейтенанта гражданской гвардии. Соседки ее утешали. Мануэла не плакала. Она мрачно уставилась в пространство, сжав кулаки. Я узнал, что Педро Хиль уступил наконец настояниям своего деспотичного отца и что накануне он был помолвлен с дочерью богатого кондитера. Я утешил, как мог, обеих женщин и ушел.

Маэстро Кинтана замолчал и медленно отпил вина. Гитаристы, сунув в рот саксофоны, играли румбу, а девушки с воланами превратились на время антракта в обыкновенных партнерш и танцевали с посетителями. И здесь я обратил внимание на пожилого господина с высоким лбом. Мне показалось, что я не раз видел его в мадридских библиотеках, где он делал выписки из старинных книг и рукописей. В его лице и манере держаться не было ничего неприятного, но маэстро Кинтана уставился па пего с ненавистью.

– Этот тип – ирландец, – сказал художник. – Он сочинил пошлейшую книжонку об испанских нравах… Терпеть не могу болванов, которые объясняют климатом паши кровавые социальные противоречия…

Наступила пауза – маэстро Кинтана искал нить мысли, оборванную вспышкой гнева.

– Иногда мне кажется, – заговорил он снова, – что, если б я не свернул с пути, намеченного «Прачками» и «Фонарем», во мне разгорелись бы искры того могучего пламени гнева и беспощадной иронии, которое Гойя до сих пор разжигает в посетителях Прадо, гнева, направленного против тирании, невежества и тупости нашего правящего класса. Я отдал «Прачек» на общую художественную выставку в Мадриде, однако картина имела средний успех. Критикам не понравился социальный мотив. Картину замолчали, и все же ее приобрел один скандинав, который разбирался в искусстве. Из полученных денег я отдал небольшую сумму моим бедным друзьям в Триане. Сеньора Торрес не вставала с постели, изглоданная тяжелой болезнью, а Мануэла с утра до ночи стирала и гладила белье. Девушка была все так же прекрасна, но в ее глазах угадывались первые признаки усталости от серой, безрадостной жизни. Такая девушка, как она, стоило ей захотеть, могла выйти замуж за докера или фабричного рабочего, но любимый человек оставил в ее сердце неизгладимый след на всю жизнь. Мануэла никем не могла заменить красивого, но бесхарактерного Педро Хиля.

На деньги, вырученные за картину, я прожил два года в Париже. Не скажу, чтобы эти годы чем-то обогатили мое искусство. Я угасил в себе пламень Гойи в бесплодных эстетических спорах, в шатаниях между скукой, которую наводил на меня академизм, и дружбой с разложившимися модернистами, с бездельниками и лентяями, которые днем малевали содержанку какого-нибудь мелкого чиновника, а вечером критиковали Пикассо или шли в свою мансарду спать с первой встречной проституткой. Я затосковал по Испании, по Веласкесу и Гойе, по неге Гвадалквивира, по пальмам, солнцу и зною моей родной Севильи. Париж показал мне бессмысленность формалистического искусства. Оттуда я возвратился с больным ребенком и озлобленной женой, но с огромным желанием работать. Я сразу же взялся писать «Фонарь». Я ел только раз в день, чтобы иметь возможность покупать ребенку молоко и бананы. Жена из последних сил боролась с бедностью. Я был так поглощен работой, что забыл сходить в Триану навестить сеньору Торрес и Мануэлу. Картина продвигалась, и я ожидал от нее морального удовлетворения, славы, денег… Я отдал ее с твердой верой в успех в один из постоянных салонов Мадрида, но, когда ее выставили, разразился неописуемый скандал. Критики осыпали меня руганью, обозвали порнографом, бездарностью, позором для народа, давшего Веласкеса, Мурильо и Сулоагу. Газеты потребовали предварительной цензуры для картин, выставляющихся в частных салонах. Эссеисты и ничтожные тли из Академии, которые исписывали целые тома о резьбе на каком-нибудь крестике или алтаре, вонзили булавки своей иронии в мое тело. Суровый реализм моей картины оскорбил закоснелых эстетов, нечистую совесть клики, управлявшей Испанией. Через два дня картина была снята самим владельцем салона. Я получил от него письмо вместе с ничтожной денежной компенсацией и совет поискать справедливости у маэстро Рейеса. Вы слышали о маэстро Рейесе? Это самый богатый и самый бездарный художник в Испании. Академики я критики, однако, его превозносят, потому что он происходит из аристократии и написал такие картины, как «Осада Гранады» или «Коронация Альфонса XIII». А в то время все считали его новатором. Академики объявили, что он придал новую форму содержанию классиков… Итак, я отправился к маэстро Рейесу в его маленький дворец на улице Реколетос. Я предупредил его по телефону о своем визите. Меня встретил дворецкий во фраке, а в мастерскую провел лакей. Художник замешкался, и я имел возможность разглядеть его слащавые пейзажи Сан-Себастьяна и незаконченный портрет какой-то тучной дамы из Южной Америки. Ото всего веяло старомодной традицией, банальностью, давно изжившей себя техникой, все напоминало нудную речь королевского академика о значении Сервантеса или Тирсо де Молины. Хотелось рассмеяться и уйти. Художник вышел ко мне в шелковом халате, с длинным мексиканским мундштуком во рту. Его темные глаза под сивыми бровями сурово впились мне в лицо. Он ожидал от меня робкого преклонения, а я смотрел на него дерзко, почти нахально.

– Что вы хотели выразить вашими озлобленными проститутками под фонарем па севильской улице? – в упор спросил он.

А я ответил так же в упор:

– Человеческое достоинство, униженное деньгами, сеньор.

– Понимаю!.. – загремел маэстро Рейес. – Значит, и вы из этих новоявленных реформаторов Испании!.. Но если вы коммунист или анархист, это не дает вам права глумиться над Гойей…

И маэстро Рейес сердито заговорил о пошлости сюжета, ошибках в композиции, о злоупотреблении красным тоном, о бездарном подражании Гойе в колорите… вообще о вульгарном реализме моей картины. А потом пустился в туманные восхваления великих традиций Греко, Риберы и Сурбарана в испанской живописи. Я слушал не возражая и ушел из его ателье таким же озлобленным, как те проститутки, которых я написал. Через десять лет я продал эту картину за громадные деньги аргентинскому коллекционеру. Но после посещения маэстро Рейеса я вернулся в Севилью убитым. Я провел ужасную ночь. Жена плакала, заклинала меня бросить живопись и заняться другой работой, показывала мне бледное лицо и кривые ножки нашей девочки, родившейся в Париже.

…Голос маэстро Кинтаны осел и внезапно смолк. Я невольно опустил голову. После недолгого молчания художник продолжал:

– …И в ту ночь я умер, в ту ночь огонь, который Гойя зажег в моем сердце, погас, в ту ночь я перестал служить настоящему искусству и продал себя!.. На другой день жена заложила свою последнюю драгоценность – браслет с рубинами, оставшийся ей от матери. Шесть месяцев подряд я писал пышно разодетых тореадоров, хорошеньких цыганок из Гранады, Хиральду под ярким солнцем, пошловатых девиц с жасмином и цветами апельсина, наносил на полотно парадный блеск Андалусии, за которым скрывались ее язвы, высыпал на него всю мишуру и всю безвкусицу того бездарного и слащавого подражания классикам, которое корифеи Королевской Академии называли традиционным содержанием испанской живописи, а парвеню, снобы и глупцы стали наперебой раскупать… Я кощунствовал над искусством, но это уже не имело значения, потому что мой дух и талант были мертвы… Через год за моими картинами гонялись на американском рынке, критики приветствовали мое вступление на правильный путь, писатели вплетали мое имя в затейливую вязь своих эссе и, когда хотели выразить что-то особенно волнующее, ссылались на тона «бесподобного и страстного Кинтаны». А в моем сердце уже не было ни капли страсти.

Но я стал богатым человеком. У дочери прошел рахит, жена опять смотрела на меня влюбленным и благодарным взглядом, как в первые месяцы в Париже. За это время я совсем забыл о своих знакомых из Трианы. Но однажды вечером, на страстной неделе, я пришел в «Лас Каденас» с компанией, приехавшей из Мадрида и слегка возбужденной видом крови на корриде. Всего три часа назад последний из шести свирепых миурских быков распорол живот Пабло Редондо. Я люблю бой быков, как всякий испанец, но в тот вечер трагедия на арене навязчиво напоминала мне, что бедняга положил свою жизнь скорее ради денег, чем ради славы. Мне было противно слушать комментарии одного литератора из этой компании, поэта, известного тем, что он сделал тауромахию источником своего вдохновения. Ему принадлежит двухтомный труд на тему «Быки в испанской поэзии». Может быть, вы не верите, что существует такая книга? Завтра я вам ее покажу. В ней есть прекрасная и печальная баллада о Педро Ромеро. Я был подавлен рассуждениями этого литератора, расстроен звериным ревом публики и видом смертельно раненного Пабло Редондо, которого вынесли с арены с пожелтевшим лицом и струйкой крови у рта… На душе у меня было муторно. Я стал пить рюмку за рюмкой. И тут среди девушек, танцевавших сегедилью, я увидел Мануэлу.

Прекрасные формы зрелой женщины заменили юное обаяние той девушки, которую я рисовал в Триане. Ее иссиня-черные волосы были все так же густы, кожа сохранила золотисто-апельсинный оттенок, в очертаниях лица проступали те же благородные твердые линии, что у древнеиберийского мраморного бюста «Дамы из Эльче». Мануэла, видимо, была примадонной в этом заведении – остальные девушки отступили и оставили ее танцевать одну. Она танцевала, полуопустив веки, с едва уловимой горькой усмешкой на лице. Но что это было? Сегедилья или жалкая пародия на нее, состряпанная в вертепах Буэнос-Айреса?… Когда она кружилась, платье взлетало и открывало бедра, таз безобразно вихлялся, плечи и руки сладострастно изгибались, подчеркивая линию груди, словно она хотела соблазнить всю публику. Я невольно вспомнил настоящий старинный танец, который видел за три года до этого па улице Сан-Фернандо. Сердце мое сжалось от боли. Я опустил голову, чтобы не смотреть.

Когда танец кончился, я тотчас подошел к ней.

– Мануэла! – сказал я. – Ты меня помнишь?

– Да, сеньор, – ответила она взволнованно. – Только я сомневалась, помните ли вы меня, и потому не подошла к вам.

– А почему ты так танцуешь сегедилью?

– Патрон требует, чтобы я танцевала ее так.

– Пойдем за наш столик, – пригласил я ее по-дружески.

– Я думаю, лучше не стоит, – ответила она с легкой грустью. – С вами донья Мерседес.

Я совсем забыл, что я знаменит и богат. Севилья знала даже имя моей жены, которая в эту минуту, покраснев от гнева, наблюдала за моим разговором с Мануэлой. Бедная донья Мерседес! Она слыла самой элегантной и привлекательной женщиной в Севилье, но богатство сделало ее снобом. Я тут же простил ее, вспомнив, как героически она делила со мной голод и нищету в Париже.

Я еще поговорил с Мануэлой и узнал о последних событиях в ее жизни. Сеньора Торрес умерла от рака, братишки выросли и ходят в школу, а она работает теперь в «Лас Каденас» и получает двадцать песет за вечер. Однажды она встретила меня на Сиерпес, но не посмела окликнуть. Маэстро Кинтана, вероятно, не пожелал бы, чтобы его увидели на улице с девушкой, танцующей в «Лас Каденас». Она сообщила мне все это тихо и серьезно низким контральто с певучим севильским акцентом, без всякого жеманства. Я сразу понял, что эта девушка все еще бережет свое женское достоинство.

– О Манолита, приходи, когда захочешь, к донье Мерседес и ко мне, мы всегда будем тебе рады! – сказал я от всего сердца. – Но никогда не забывай, как ты танцевала на улице Сан-Фернандо… То, что я видел сейчас, – не сегедилья.

– Я знаю, сеньор, – ответила она. – Хотите, я протанцую для доньи Мерседес и для вас настоящую сегедилыо?

– Хочу, конечно!

Она сделала знак гитаристам и начала танцевать снова. Теперь это был тот самый танец, который я видел на фериате в Севилье три года назад, – естественная, неиспорченная сегедилья, древняя, как иберийские горы, бездонная и чувственная, как Андалусия. Это была буря чувств, которые выбивались из бездны любви и смерти и сливались воедино, утверждая жизнь. Это было искусство умного, пылкого и чувствительного испанского народа, это была поэма, это был истинный художественный танец. Тело ее вращалось все быстрей и быстрей со все большей страстью, руки драматично изламывались в запястьях, голова внезапно откидывалась назад, лицо замирало в трепетном напряжении…

Когда она кончила, иностранцы остались равнодушными. Зааплодировало только несколько испанцев. Большая компания американцев с громким хохотом распивала мансанилью, с десяток немцев, разъезжавших по Испании группой, уничтожали омаров, сидевшая в одиночестве англичанка пожирала глазами красивых гитаристов. Танец не взволновал почти никого. В нем не было истерии мюзик-холлов, сладострастных движений бедер. Патрон подошел к Мануэле и что-то сердито ей сказал. Вероятно, он был недоволен тем, как она танцевала. Девушка гордо тряхнула головой и показала ему спину.

С того вечера я стал часто приходить в «Лас Каденас», чтобы поговорить с Мануэлой. Может быть, из жалости к самому себе. Эта девушка напоминала мне мое прошлое, «Прачек», дни, когда я служил настоящему искусству. В нашей участи было поразительное сходство. Движение я танец были у нее в крови. Она была рождена, чтобы радовать и вдохновлять своим искусством, а вместо этого закончила какую-то захудалую школу и танцевала в «Лас Каденас», как я, налегая на технику, писал слащавые безвкусицы на потребу американского рынка. Но какой тяжелой и унизительной была ее жизнь в сравнении с моей!.. Ей приходилось служить приманкой для посетителей, танцевать в антрактах с пьяными мужчинами, отклонять грязные предложения… Со всем этим она справлялась без раздражения и жалоб, с холодным достоинством, которое ставило на место и самых нахальных мужчин. Она не позволяла никому провожать ее домой. Каждый раз в час ночи, когда заканчивалась программа, появлялся ее брат, шестнадцатилетний юноша, и отводил ее в Триану. Это упорное и бессмысленное целомудрие казалось почти ненормальным. С точки зрения своей карьеры в «Лас Каденас» она просто теряла время, не наживая денег и не думая о старости. Может быть, она мечтала выйти замуж, но и в это трудно было поверить. Даже самый наивный севилец или иностранец не женился бы на девушке из «Лас Каденас» – заведения, где женщины стоили немногим больше, чем обыкновенные проститутки. Поведение Мануэлы оставалось загадкой для всех. Но чем больше я наблюдал за ней, тем больше убеждался, что какая-то дикая гордость не позволяет ей пустить свое тело в дешевую распродажу. С мрачным, поразительным упорством она шла к другой цели.

Маэстро Кинтана прервал свой рассказ и сердито закурил. Глаза его опять злобно впились в тихого, безобидного ирландца, который мирно беседовал с одной из дам в своей компании. Я подумал, что маэстро Кинтана хватает через край со своей ксенофобией по отношению к этому человеку. Я тоже почувствовал себя задетым, и художник, видимо уловив это, сказал:

– Да я не сержусь на этого глупца… Он похож на тихую моль, что бесшумно точит одежду… И я не опасаюсь втайне, что вы, подобно ему, будете в своих статьях возмущаться боем быков, оставаясь равнодушным к кровавому избиению рабочих в Астурии…

…Через год, весной, в неделю фериаты, на улицах Севильи появилась мощная спортивная машина. Ее вел пожилой коротышка с седой шевелюрой – прожженный мерзавец.

Маэстро Кинтана помолчал, затянулся и нервно выпустил дым.

– …В Париже я видел, как американские туристы лазили в справочник, чтобы узнать, кто такой Наполеон… Я видел, как фермеры из Аризоны смертельно скучали в Лувре или уходили с середины спектакля «Комеди Франсез». Но это безобидный тип людей. Просто этим людям труд помешал получить образование. Гораздо неприятнее были пасторы, которые обещали двести франков, чтобы их поводили по кабаре Монмартра, а потом с карандашом в руке начинали доказывать, что израсходовали только сто. Хотя и в этом есть что-то человеческое. Но меня душила злость, когда я видел, как старухи, увешанные бриллиантами, танцуют с бедными студентами из Сорбонны или пожилые биржевые агенты из Чикаго предлагают десять тысяч франков за девственницу.

Тип, о котором я говорю, не был ни фермером, пи пастором, ни биржевым агентом из Чикаго. Он приехал закупить акции Иберийского общества горнорудных предприятий. Я видел его на приеме у маркиза Паломы, директора общества, в котором и я держал несколько сот акций. Он был остер на язык и находчив, но его лиловое лицо, толстые пальцы и циничные насмешки над испанской неспособностью к торговле показались мне на редкость противными. Это был человек с чувством юмора, напористый, бессовестный, а что касалось женщин и спиртного – здесь ему не было равных. Это был сущий дьявол – о его кутежах в разных кабаре говорила вся Севилья. Однажды днем, проходя по улице Сан-Фернандо, я увидел в его машине Мануэлу. Это был верх его бесстыдства – показаться публично с девушкой из «Лас Каденас» после того, как накануне он смотрел бой быков из семейной ложи маркиза Паломы. Я остался стоять как громом пораженный, но по другой причине. Я ожидал, что Maнуэла может отдаться кому угодно, только не подобному типу. Вечером я отправился в «Лас Каденас». Патрон сообщил мне раздраженно, что Мануэла внезапно покинула заведение, уплатив оговоренную в договоре неустойку в пятьсот песет… Я вернулся домой измученный и злой, как в ту ночь, когда приехал из Мадрида после визита к маэстро Рейесу, как в тот вечер, когда впервые увидел Мануэлу танцующей в «Лас Каденас», как в тот день, когда миурский бык растерзал тореадора Пабло Редонду. Не знаю, поймете ли вы меня… Я испытывал к ней привязанность… симпатию… любовь… любовь к Испании… к моему народу.

Маэстро Кинтана опять замолчал. Оркестр играл медленное, тоскливое танго. Табачный дым сгустился. Где-то загудел вентилятор. Художник отпил вина и закурил новую сигарету.

– Три года спустя в мюзик-холлах Сан-Франциско взошла новая звезда – феноменальная испанская танцовщица. Имя «Канделита» разнеслось по всей Южной Америке. Газеты публиковали разные небылицы о ее детстве. Как только она появилась в Мадриде, я поехал на нее посмотреть. Она вышла на сцену ленивым и упругим шагом пантеры, потом тело ее медленно изогнулось, и она наклонилась в сторону, словно вот-вот упадет. Но вдруг какая-то спазма свела все мускулы ее тела. Руки взмыли над головой, раздался сухой длинный треск кастаньет. На несколько секунд она застыла, словно пораженная током, а в следующий миг понеслась в бешеном, головокружительном танце. О быстроте этого танца можно получить понятие, только увидев его своими глазами. Ноги ее двигались, как отлаженный механизм, и стучали об пол в невероятном темпе, тело крутилось, как мотор. Казалось, через полминуты она замертво рухнет на пол, но бешеным, сверхдинамичный танец продолжался все в том же темпе. Волосы ее развевались, глаза метали искры, губы сжимались от напряжения, руки, ноги, корпус, все мышцы, все фибры ее существа были подчинены этому дьявольскому ритму, этому невероятно, сверхъестественно быстрому танцу… Публика следила за ним затаив дух, в гробовом молчании. В тишине была слышна только гитара и невообразимо быстрый стук ног Канделиты. Когда занавес опустился, публика взревела и забесновалась. Я ушел с печалью в сердце. То, что я видел, было оригинально, но это был успех хорошо тренированного робота. От Андалусии, от настоящей сегедильи, от глубокой страстности древнего танца не осталось и следа… Мануэлы Торрес больше не существовало.

Маэстро Кинтана мрачно и жадно выпил целую рюмку хереса, а потом продолжал:

– Я никогда не рассказал бы вам историю Мануэлы Торрес, если бы мне не предстояло сейчас увидеть ее тень… Каждая встреча с ней напоминает мне мое прошлое, мои мечты, которые не осуществились, и заставляет душу сжиматься от боли… Напрасно я старался снова разжечь в своем сердце пламень Гойи. Мой бунт был неискренним, колорит мерк, забитый вульгарной крикливостью, что-то невидимое погасило прежнюю страсть. Мало-помалу я приближался к порогу старости, так ничего и не достигнув. Я всего лишь обыватель, которого глупцы именуют маэстро… Но когда я встречаю Канделиту, я вижу тень Мануэлы Торрес… сердце бедной севильской девушки и ее чудесный танец, простреленные жизнью, вижу жестокий и сладостный призрак своего таланта, загубленного безжалостным палачом – бедностью, вижу творческую силу испанского народа, растоптанную безумием господ, которые им управляют…

Маэстро Кинтана опять замолчал. В густом дыму от сигарет устало и призрачно покачивались в медленном ритме танго несколько посетителей, прижав к себе девушек с воланами. Когда саксофоны делали паузу, в тишину падали только звуки рояля.

– А что стало с Педро Хилем? – спросил я с праздным любопытством случайного собеседника.

– С Педро Хилем? – Маэстро Кинтана нахмурился. – Деньги сеньора Косидо разожгли в его простой сержантской душе невероятное чувство собственности. Теперь он делец и капитан гражданской гвардии в запасе. Предел для человека с его образованием. Ненавидит красных сильнее, чем герцог Альба. Как-то вечером я встретил его на Сиерпес, и он пригласил меня в кафе выпить по рюмке коньяку. Лацкан его пиджака украшали ленточки полицейских орденов времен гражданской войны. Мы поговорили о разных пустяках. Напрасно я старался узнать в нем прежнего Педро Хиля, юношу, любимого Мануэлой. Взгляд его помутнел, а на располневшем, одутловатом лице играла самодовольная улыбка. Это было лицо убийцы, который расстреливал в упор республиканцев после падения Мадрида.

– А про Мануэлу он не вспоминал?

– Нет, – ответил художник. – Он все время рассказывал об успехах своего предприимчивого тестя, который купил отель на Сан-Фернандо, а теперь готовится открыть кондитерскую в Барселоне… Верно, хотел подчеркнуть, что не раскаивается в женитьбе на дочери богатого кондитера… Обыкновенная мещанская гордость.

Маэстро Кинтана вдруг остановился.

– Канделита пришла, – сказал он.

В кабаре наступило внезапное оживление. Патрон, одетый в летний смокинг, отвешивал глубокие поклоны даме, появившейся в дверях. За дамой стоял рассыльный из отеля в красной курточке, нагруженный пакетами. Почти все девушки с воланами бросили своих кавалеров и кинулись целовать руки своей богатой я знаменитой подруге, которая принесла им подарки. Радостное возбуждение продолжалось минут десять, потом послышались отдельные подавленные восклицания, выражавшие восхищение бедных девушек красотой, щедростью и неслыханной элегантностью танцовщицы. Наконец, Канделита заметила художника и направилась к нашему столику.

На ней был костюм из светло-серой ткани, ее волосы, очень просто и гладко причесанные, напоминали блестящий черный шлем. Тело у нее было тонкое и сухое. Ноги – чудесные и длинные. Вблизи сходство ее лица с лицом «Дамы из Эльче» показалось мне еще более разительным. В этой женщине было что-то античное и вместе с тем сверхсовременное. Маэстро Кинтана поспешил представить меня, назвав мою далекую родину. Но я произвел на Канделиту не большее впечатление, чем официант, который принес ей рюмку ликера. Завязался банальный разговор о ее выступлениях в Мадриде и ангажементах в Южной Америке. Когда маэстро Кинтана или я искренне восхищались ее совершенной техникой и отточенной манерой исполнения танца в театре «Фонтальба», она удостаивала нас рассеянной и ничего не значащей улыбкой – так улыбаются артисты, позируя перед репортерами или выходя на вызовы публики. Но, несмотря на безукоризненную внешность и хорошее настроение Канделиты, что-то с ней было неладно. Тени под глазами и желтоватый оттенок кожи выдавали употребление наркотика. В глубине ее зрачков можно было заметить вульгарную муть, как у девушек из «Лас Каденас», – возможно, это был осадок ночей, проведенных с бразильскими плантаторами или капризными любовниками из Голливуда. В этих зрачках была суровая и холодная печаль, какая-то смертельная скука, они были мертвы, как глаза робота, который не может почувствовать естественную радость жизни. Сколько я ни старался, я не мог узнать в этой женщине Мануэлу Торрес. Вскоре я заметил, что маэстро Кинтана и Канделита уже слегка тяготятся друг другом. Я вспомнил, как художник сказал, что им вообще не о чем говорить. Их связывало только печальное и сладостное воспоминание о тех днях, когда они оба жили настоящей жизнью. Танцовщица поднялась и пожелала нам доброй ночи. Маэстро Кинтана проводил ее до выхода. Когда он вернулся, девушки с воланами уже снова кружились и вихлялись в механической сегедилье.

– Не лучше ли нам уйти? – обратился я к художнику.

– Я как раз собирался вам это предложить, – ответил он.

Мы подождали официанта, чтобы расплатиться.

Когда мы вышли, мне показалось, что духота усилилась. Высоко над домами светила полная, окутанная влажным туманом луна, а на светлом, млечно-фосфорном небе вырисовывались силуэты огромных стройных пальм, украшавших Пласа-дель-Триунфо. Ни ветерка, ни легчайшего дуновения, листья пальм застыли в неподвижности. Немые дома словно оцепенели в этой тяжелой, почти тропической ночи. Нас окатило потом.

– В августе ночи в Севилье невыносимо душные, – сказал художник, и мы пошли по улице.

[1] Внутренний дворик *(исп.).*

[2] Путеводитель *(франц.).*

[3] Рабочий квартал в Севилье.

[4] Форма андалусского музыкального фольклора, исполненная высокого трагизма.

[5] Праздничное гулянье с ярмаркой *(ucn.)*

[6] Маленькие домики *(исп.).*

[7] Жених *(исп.).*

[8] Прачки *(исп.).*